

Посвящение

Маме — за вдохновение, правки, ценные советы, без которых подобная дерзость была бы невозможна.

Андрею — за твердую веру в мою творческую звезду.

Папе — за звучный псевдоним и глубокий интерес к истории русской деревни.

Моему редактору, Виталине Смирновой, — за помощь и поддержку; за то, что разглядела рукопись в веренице писем

Пролог

Он хлестал по склонившейся узкой спине, которую так любил гладить. Смотрел на покорный затылок, на выбившиеся волосы и становился еще беспощаднее. После первого удара жертва закричала. От боли перехватило дыхание. Женщина упала на колени и только подвывала, поняв, что муж быстро не успокоится.

«Забьет меня до смерти... и ладно», — подумала она, и спасительная темнота накрыла с головой. Сарафан превратился в лохмотья, не прикрывавшие располосованную спину. Мучитель жалел жертву, удары были совсем слабыми — для острастки. Не хотел он ее убивать — лишь наказывал за измену.

Когда она обмякла на полу, мужчина плеснул в лицо воды. Женщина заморгала, не понимая, что происходит. В один миг нахлынула резкая боль, она застонала.

— Рано еще стонешь, — усмехнулся муж. Свист плети, стоны и крики разбудили в нем греховное, паскудное желание. — Это еще не все наказание. Как хорошая жена, должна ты ублажить мужа, которого долго дома не было. Одна беда, голубушка! Другого ты тешила, погано мне после него с тобой... Что делать будем?

— Иди к другой, — пробормотала запекшимися губами.

— Ишь чего удумала, не нужна мне другая, у меня жена есть, венчанная. Я знаю другой выход. — Сорвав остатки

сарафана, он резким движениям поставил ее на колени, стащил свои портки и пронзил, будто копьем. Безжалостно, резко, грубо он овладевал той, которая была его женой, мечтала стать матерью его детей. Испытывал особое удовольствие от ее унижения, от зверства своего. Громкий победный крик исторгло его горло, а жертва и стонать уже не могла, просто рыдала тихо, беззвучно.

— Оденься! И обмой своего мужа! — приказал мучитель.

Еле выпрямившись, она потащила лохань. Смочив ве-тошь, обтирала когда-то любимое тело и не чувствовала ничего, кроме ненависти. Скоро уставший муж захрапел на лавке.

Жена ополоснула истерзанную плоть, исхитрилась помазать спину травяным настоем. Встала у лавки и долго стояла, не отрывая глаз от мужа. Она взяла с поставца большой тяжелый нож, которым разделывала мясо. Нож заманчиво оттянул руку. Женщина смотрела отражавшее свет лучины лезвие, гладила дорогую костяную рукоять, будто желанного любовника.

ГЛАВА 1

КОНЕЦ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

1. Вороновы

Истошный ор прокатился по единственной улице деревушки Еловой и пошел гулять над Усолкой, уставшей от ледяных оков за долгую зиму.

— Что за галдеж? Совсем бабы сдурели. — Немолодой, но крепкий мужик возился в мужском углу избы.

— Василий, я схожу, любопытно, — отозвалась черно-волосая женщина.

— Иди, Анна, коли заняться нечем.

— Оксюшка, ты со мной?

Наспех замотав девчушку в слишком просторный для нее, шестилетки, тулуп, накинув на свое пышногрудое тело теплую одежду, женщина вышла из избы.

Лед отливал богатой синевой. Ветер шаловливо играл с ветками ивы, перебирал концы старого платка, шевелил выбившиеся пряди Оксюши, холодил маленький нос.

Несколько разгоряченных женщин сгрудились на одном пятачке и кричали, перебивая друг друга. Анна с дочерью подошли поближе. Деревенская знахарка, Гречанка, расхристанная, полураздетая, стояла, гордо подняв седую голову. Из фигурно вырезанных ноздрей породистого носа стекала тонкой струйкой кровь. Знахарка и не пыталась утереться, позволяя крови настойчиво капать на неопрятно потемневший снег. Оксюша смотрела на бурые пятна и от страха кусала розовый палец.

Худая, востроносая Гречанка появилась в деревне давно. Даже спустя два десятилетия еловские считали знахарку пришлой, чужой. Ее христианское имя Глафира в деревне не прижилось. Звали Ведьмой, Гречанкой. Бабы недолюбливали знахарку, но часто бегали за снадобьями от худого кашля, от поноса, от боли в спине. Поговаривали, что может ведьма избавить от паскудного бремени, насладь любовную сухоту, исцелить смертельно больного, выторговав жизнь его у нечистого.

Самая громкоголосая, молодая женщина, носившая старое, почти забытое имя Еннафа, с ревом наступала на знахарку. Молодуха сжимала крупные костлявые кулаки, жаждала крови. Несколько дней назад она родила недоношенную девочку. Дите оказалось слишком слабым для бренного мира, и Бог прибрал его к себе. Не желая смириться с потерей первенца, Еннафа винила во всем проклятую ведьму.

Бабы теснили Глафиру к Усолке. В руках Маланьи, соседки Анны, появилась туго сплетённая веревка. По всему видно, еловчанки решили проверить, знает ли Глафира с нечистой силой. Всем ведомо, если ведьму связать, она всплывет. Без помощи ее черти не оставят.

Гречанка отступала, голые посиневшие ноги проваливались в рыхлый снег. Она почти падала. Бабы, как собаки на охоте, гнали свою добычу. На черных сиротливых ветках собрались вороны и оглушительно орали, будто подзуживали лиходеек, подталкивали их к дурному делу.

Аксинья задрала голову:

— Они утопить хотят? Жалко...

Возле реки скопилась порядочная для деревушки толпа. Кто-то крикнул:

— Не утонет Гречанка. Ведьма ведь!

Мать наклонилась, отодвинула с дочкиного уха косынку, выпустила на стылый воздух горячие слова:

— А что мы сделать-то можем? Они и нас утопят. Страшны бабы во гневе, прости Господи!

Сильная рука Еннафы схватила седые растрепанные волосы.

Только окунула она в холодную воду Гречанку, раздался гул:

— Топи ее, окаянную. Так ей и надо!

— Гречанка, иди в преисподнюю!

— Веревкой-то связывайте! Неумехи!

Уверенный голос разрезал толпу:

— Бабы, вы бы отпустили знахарку. Ничего плохого деревенским она не сделала.

Анна встрепенулась.

Кто еще не побоялся бы дурного женского племени? Жаркой гордостью обдало ее с ног до головы. Среднего роста, кряжистый, Василий был из тех мужиков, на которых держится земля русская. Всегда болел за правду и шел против толпы по настойчивому зову сердца.

— Прав он, непотребство затеяли. Еннафа, быстро домой, — худой, сгорбленный старик остановился рядом с Василием. Его повелению подчинились, казалось, даже вороны, спешно взметнувшиеся с деревьев и полетевшие на другой берег.

Рука молодки застыла над берегом. Посиневшая знахарка ловила ртом воздух. Со свекром спорить было бесполезно, Еннафе пришлось выпустить из рук добычу.

Гермоген был тих, по-стариковски нетороплив, но слово его не только в семье — во всей Еловой было непререкаемо. Не меньше двадцати лет он мирил ссорившихся, решал, за кем останутся лучшие заливные луга, следил за сбором посошного¹, церковной десятины, ямской и десятка других повинностей, возложенных властью на простого человека.

Народ быстро разбежался. Потеха закончилась. Гречанка выжала волосы, быстро покрывшиеся льдистой коркой.

¹ Посошное (обложение) — поземельный налог в России в XIII–XVII веках.

Взгляд ее остановился на Анне и Оксюше, которые молча стояли на берегу.

— Вот так-то, бабоньки. Сердце человеческое черствее прошлогоднего хлеба, — сгорбившись, Гречанка пошла в свою избушку, кособоко примостившуюся на окраине деревушки. Казалось, ее узко вылепленные ступни не замечали холода.

Вслед Анна прошептала, не для дочки, для себя:

— Не со зла они...

Дома Оксюша разревелась. Огромные слезы катились из темных, чуть выпуклых глаз.

— Дочка, ты что это сырость развела? — отец склонился над крохой, забавной в своем детском горе.

Анна с Василием долго утешали дочку, а она и сама толком рассказать не могла, что так расстроило ее. То ли бабы со страшными, перекошенными лицами, то ли судьба старой знахарки, то ли дыхание смерти. В этот день девочка впервые ощутила, как страшен может быть мир, как ненависть делает пустыми глаза, как крючит пальцы, превращая их в смертоносные когти.

* * *

Аксинье повезло куда больше, чем многим ее ровесницам. Последыш в семье, она веревки вила из своих родителей. Появилась Оксюша у сорокалетней матери, которая детей заводить боле не намеревалась. Но природу не перехитришь. Дарья, Петухова жена, подначивала Анну:

— Настругал тебе Васька дите на старости лет. Ты стругалку-то его утихомирь, а то увлечется мужик. Еще парочку сварганит нахлебников.

Раздобревшей Анне помогал десятилетний Федор. Лишь он остался в избе из всего обширного выводка Вороновых. Стройный, гибкий, с каштановыми кудрями, ангельскими чертами лица он слыл бы на селе первым красавцем, но... С самого детства дьявольская болезнь не давала Феньке покоя,

падучая скручивала его, кидала наземь. На губах выступала пена, и рассудок надолго покидал горемычного. Сколько слез пролила мать над ним — не счесть.

Ничего мальцу не помогало, лет до десяти чуть не каждую седмицу случался приступ. Родители не знали: то ли молить Бога о выздоровлении, то ли просить, чтобы он ни-спослал Феде милосердную смерть... Из-за приступов голова Федина работала иначе, чем у других, говорил он медленно, не мог додуматься порой до самых очевидных вещей. Сторонился чужих людей, все больше молчал, зато помогал отцу в гончарном деле, работал в дворе, ухаживал за скотиной и огородом — трудился за троих.

Гончарный промысел принес семье Вороновых небольшие накопления: уплатив подати, церковную десятину, тратя деньги на сырье и попутные надобности, они жили безбедно. Срубили новую избу-пятистенку с просторной светелкой. По обычаю родных мест Василий пристроил к глиняному телу печки деревянный короб — и плотный дым выходил из избы. Соседи долго смеялись над недотепой с Казани. В холодных землях расточительством было выпускать тепло на волю. Все топили печи по-черному. Русский человек привык вдыхать сажу, пачкать порты в ко-поту. За седмицу белая рубаха становилась грязно-серой. Год-другой, смешки поутихли, и по Еловой пошел обычай печи ставить, «как у Васьки-Ворона».

К избе с правого бока прилепился сарай с гончарным кругом, малой печью и товарами для продажи. В четырех шагах хлев, гумно, куть с запасами. Лодка-долбленка, два жеребца, корова с телятком, свиньи да птица — вот все их справное хозяйство.

* * *

Оксюша, подвижная, смышленная, с огоньком в очах, сновала по двору и избе, не столько помогая, сколько отвлекая взрослых своими вопросами. «А почему солнце вос-

ходит на востоке? А почему цапли осенью улетают?» Темноглазая, с каштановыми волосами и чуть раскосыми живыми, озорными глазами, она была похожа на отца своего, Василия, в котором текла кровь инородцев. Румяные щеки, ладная фигурка и мелодичный голос достались от матери Анны.

Никто из старших детей Вороновых, да и всех детишек и помыслить не мог, чтобы строгие родители ласкали, целовали, баловали. Строгий окрик, молитвы, розги на заднице — так десятилетиями воспитывались дети в суровом краю.

Аксинья будто притягивала любовь и заботу не только родичей, но и соседок, подруг. Девчушка заливисто смеялась в сильных, хотя и немолодых руках отца, доверчиво прижималась к матери и забавлялась над Федей, для которого стала и радостью, и докукой. Аксинья любила спрятать его одежонку и веселилась, наблюдая за судорожными поисками.

— Федя, а, Федя, а посчитай, сколько кошек у нас в деревне!

Он послушно шел считать и был остановлен кем-то из родителей. Аксинье выговаривали за каверзы, а Федя смешно злился, морщил нос.

— Отгадай загадку: белая морковка зимой растет.

— Морковка зимой... Как так может быть? — неповоротливый ум парня не справлялся с такими задачками. Он чесал затылок, убежал в мастерскую к молчаливым кринкам и горшкам. А девчушка вслед кричала:

— Сосулька это, братец, как не догадаться?

* * *

Поздней осенью Аксинья по своему обыкновению крутилась в мастерской. Маленькая, юркая, она носилась со свистулькой, отцовским подарком. Федор, с кряхтением

тащивший тюк с глиной, запнулся и уронил свою тяжелую ношу на ногу. Оксюша с плачем и криками побежала в избу, а Федор тихо стонал на земляном полу сарая.

Нога подернулась синевой, парень закусывал губы, видно было, что мочи терпеть нет. До вечера Гречанка колдовала над ним. Нога, смазанная студенистым отваром, была заточена в лубок. Глафира шептала неведомые заговоры тихо, безучастно, прикрыв морщинистыми веками совиные глаза. Дрожащее пламя лучины освещало покрывшееся испариной лицо Федора, трепетало на смуглых руках Глафиры. И его пляшущие отблески бились в такт напевному шепоту знахарки.

— Помоги... Помоги ты ему, — бормотала Анна. И не было в ее душе страха перед неведомым, перед чародейством, что могло помочь ее сыну.

Кряхтя и держась за поясицу, Глафира разогнулась:

— Все сделала я. Он молодой... Бог даст, еще бегать будет.

— Спасибо тебе, Глафира. В пояс кланяюсь.

— Ишь, спасибо. А давеча смотрела, буду я тонуть или нет. Да ты не спорь со старухой. Все понимаю.

Знахарка охотно взяла мешочек с весело бренчащими медяками и отказалась от густого варева, томившегося в печке.

Только к вечеру Анна спохватилась: младшей дочки нет. Ни на печке, ни в кути¹, ни у постели родного брата.

— Вася, а Оксюша-то где?

— И на печи нет? — лежанка на печке, теплая и уютная, была любимым местом баловницы.

— Нигде ее нет, горюшко. Как просмотрела-то!

Долго еще огоньки лучин освещали двор Вороновых.

— А-а-а-аксинья, — раздавался протяжный женский крик.

¹ Ку т ь — задний женский угол в избе, место перед печкой.